



Новогодняя ночь. Зимняя канавка  
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный  
литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал

Орган Ленинградской  
писательской организации

# Нева

1/1991

Выходит  
с апреля  
1955  
года

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

О. ТАРУТИН. Стихи . . . . .	3
Д. ЛИХАЧЕВ. Как мы остались живы . . . . .	5
Ф. СУХОВ. Стихи . . . . .	32
Ф. СВЕТОВ. Тюрма. Роман . . . . .	34
М. ГОЛОВЕНЧИЦ. Стихи . . . . .	98
А. ШУЛЬГИНА. Стихи . . . . .	99
А. ЖИТИНСКИЙ. Два рассказа . . . . .	100
В. НАСУЩЕНКО. ...Потерявшая своих сыно- вей. Повесть . . . . .	117
Н. РАЧКОВ. Стихи . . . . .	136

---

### ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

В. УШАКОВ. Возвращение к реальности . . . . .	137
К. ЧАПЕК. «Точно голый в терновнике» . . . . .	161

---

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. НЕВЗГЛЯДОВА. Слово — «Психея». На- блюдения над метафорой у Мандельштама . . . . .	167
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ. И вохровцы, и зэки . . . . .	170

---

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

М. ЗОЛОТОНОСОВ. Юрий Боров. Сталини- ада.— Л. НАЗАРОВА. Борис Зайцев. Зеле- ная печаль.— Ив. ТОЛСТОЙ. Гайто Газда- нов. Вечер у Клэр.— Е. ЩЕГЛОВА. Ивани- хин В. Почему у Ильина читают все? . . . . .	177
--	-----



Ленинград  
«Художественная  
литература».  
Ленинградское  
отделение

**СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ**

Совсем недавно. Совсем давно:

В. ТОГО. Возрождайся, Инкермаа! . . . 190

Мини-мемуары:

Н. КОЛПАКОВА. Студия . . . 194

Библиофил:

А. РУБАШКИН. «От искренне любящего  
С. Есенина...» . . . 200

И. ЭРЕНБУРГ. «...Становится богом» . . . 201

Вернисаж «СТ»:

А. ЗВЕРЕВ. Стихи. *Вступительное слово*  
М. Фотиева . . . 202

М. ФОТИЕВ. Наночьглядя . . . 204

По праву памяти:

С. ХЕНТОВА. Бесстрашие . . . 206

Главный редактор **Б. И. НИКОЛЬСКИЙ**

Редакционная коллегия:

А. Г. БИТОВ  
И. И. ВИНОГРАДОВ  
Е. И. ВИСТУНОВ  
(заместитель  
главного редактора)  
Д. А. ГРАНИН  
Б. Г. ДРУЯН  
М. А. ДУДИН  
В. В. КОНЕЦКИЙ  
Н. М. КОНЯЕВ

Н. П. КРЫЩУК  
С. А. ЛУРЬЕ  
Е. Н. МОРЯКОВ  
Е. В. НЕВЯКИН  
(первый заместитель  
главного редактора)  
В. В. ФАДЕЕВ  
(ответственный секретарь)  
Т. Н. ФЕДОРОВА  
В. В. ЧУБИНСКИЙ

Старший технический редактор **Г. И. Огородник**  
Корректоры **А. Ю. Смина, О. Б. Смирнова**

© «Нева», 1991

Сдано в набор 27.09.90. Подписано к печати 03.12.90. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага газетная.  
Почать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,89 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 754  
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3  
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственное техническое объединение «Печатни Даор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР  
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не возвращает рукописей, а только сообщает о своем решении.  
Рукопись объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

**Олег  
ТАРУТИН**

*Ретропесни*

Разомлеви от ретропесен,  
на ладопи скулу качну...  
Снова их слепоты и спесей  
не учую, не прокляну.  
Что за тайна у этих песен?  
Ведь — имперские,

из кяно.

И — по всем городам и весям,  
словно каждому — эскимо.  
Словно счастливы асе до гроба:  
те, кто в ромбах, и те, кто в робах,  
в море, а шахтах и на полях,  
или даже — в яслях, в соплях...  
Всюду солнечно и бескрайно,  
и любовь — красивая тайна,

и глядит восхищенный мир  
из своих угнетенных дыр.  
Но такие видеоклипы  
этим песенкам вперебой,  
что какие уж ретровсхлипы  
над всеобщей стыдобо́й!  
Только все же —

ведь там мое же!

Там рожден я и там клеймен.  
И свербит под одеждой кожа  
вся в наколках былых времен.  
Ах, наколочки вы, наколки,  
выводить вас — напрасный труд,  
это время клэймило с толком.  
— Нет, послушайте, как поют!..

*У картины Сурикова*

Утро Стрелецкой казни.  
Древних годов кровяца.  
В месиве плахи вязнут,  
жутью на тыщи прыщит...  
Воздух — и тот изрублен,  
так и висит кусками,  
в горло проходит с хрупом,  
выдох теснит тисками.  
...Я понимаю:

плаха,

мысли о смерти — варом...  
Но ведь чиста рубаха,  
свечка в ладонях яра.  
Вот она — церковь Божья.  
В голос стрелчи́ха воег.  
Та, что во гроб уложит,  
в памяти упокоит.  
Что-то казнимый крикнет  
вовсе уж без опаски.  
Все же телега скрипнет,  
все же вздохнет Савраска...  
Все же — Красная площадь,  
все же — с другими вместе,  
все-таки губы сморщит  
царь  
на твое двуперстье.

Это ли — Куропаты?  
Спешный лопатный скрежет.  
Тяжких трехтонок скаты  
грузом просели свским.  
Тьму прорезают фары.  
Глаз у стрелка патружен:  
даром патрон замаран —  
Органам ты не пужеп.  
...Кто ты,

у рта стоящий,

ждущий в затылок пулю,  
воющий кто, молчащий  
в том феврале—июле?

Что ты,

в подвал сведенный,  
видел в свой миг остатный,  
кроме парши бетонной  
в вечных наследных пятнах?  
Толпы Стрелецкой Казни! —  
общий масштаб грошовый.  
Это ли спецзаказник  
станции Левашово?  
Ведь — ни единой бирки,  
Господи ты мой, Боже!  
Ну, а в затылках дырки —  
все поголовно схожи.

*Сверстникам*

I

И хоть все мы — икринки Утопии,  
хоть обрызганы общей молокой,  
мы хвостами по-разному хлопали,  
главным руслом плывя и протокой.  
Поначалу — глубины акуловы,

но вода все мелела, стихала.  
И теперь — только малые уловы,  
а меж ними — реальность сухая...  
Не прорваться уже перекатами,  
грозный паводок нас не растащит.  
Шевелим плавниками помятыми  
и глаза друг на друга таращим.

Ах, Утопия! Зло первородное!  
 Что ты можешь и что ты подскажешь?  
 ...А уж кто-то махнул в земповодные,  
 а иные — в рептилий даже.

## II

Все мы угли одного костра,  
 бывшие поленья поколений.  
 Для пыланья, для испепеленья  
 нам иочная выпала пора.  
 Мы на угли прежние легли,  
 занялись от скопленного жара,  
 а потом горели, как могли,

## За оградой

Уцепивши деревце кривое,  
 с костыльком,  
 торчащим из плеча,  
 он мотает жуткой головою,  
 непонятным лепетом ввуча.  
 Он совсем как инопланетянин,  
 зачатый в чудовищной дали,  
 пролетающий звездными путями,  
 схваченный ловушками Земли.  
 Где его родная несвесомость?  
 Звук привычный и привычный вдох?  
 Сплюснены все гены-хромосомы  
 тяжестью, нагрывнувшей врасплох.  
 И теперь,  
 навеки перекошен,  
 в мире,  
 что подмял и не добил,



Разопривались мне поезда,  
 разопривались мне самолеты,  
 незнакомые мне города  
 и заезжей судьбы повороты.  
 И не в том, понимаешь, беда,  
 что дороги совсем одичали,  
 что загажены все города,  
 те, что прежде гостей привечали.  
 И не это мне душу томит  
 под колес перестук обалделый...  
 Видно, я любопытства лимит  
 отоварил уже до предела.  
 Я видал уже этот квартал.

и дымя, и вспыхивая яро.  
 ...Я представлю этот костерок.  
 И сидит на корточках Эпоха,  
 что-то варит,  
 а вскипает плохо,  
 а Эпоха — это тоже срок.  
 Вечность ей внушает:  
 — Не спеши...

Кто там сварит: ты или другая...  
 А она все пламя ворошит  
 и, слезясь от дыма, раздувает.  
 Вот она отходит от костра  
 и приносит новые поленья,  
 и в огонь бросает в нетерпенье,  
 а сидеть ей только до утра...

что он хочет, что он просит,  
 Проша —  
 сестрорецкий ласковый дебил?  
 Неужели все-таки земное,  
 Господи,  
 вот это существо?  
 Это — мы  
 за ближней пеленою!  
 Это — мы  
 с бездумною слюною!  
 Это все мы в образе его!  
 Что ж мы понаделали, ребята,  
 что ж мы сотворили над собой,  
 на всеобщем гнибце расплаты,  
 на планете, бывшей голубой?..

Эта свадьба уже грохотала.  
 Этот пьяный уже бормотал.  
 Эта стая уже пролетала.  
 ...Мне знакомою гарью пахнул  
 полустамок, промокший и соинный.  
 И знакомо в беседу втянул  
 незнакомый шатун разведенный...  
 Он исчезнет потом навсегда  
 со саосю смущенной икотой...  
 Вроде, понятый мной без труда,  
 непостижимый, как житель Дакоты,  
 непостижимый. Вот в том и беда.

Дмитрий  
 ЛИХАЧЕВ

## КАК МЫ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ

*...существует только то, чего уже нет.  
 Будущее может не быть; настоящее может  
 и должно перемениться; одно прошедшее не  
 подвержено изменчивости: воспоминание  
 бережет его...*

Жуковский

*Я верю, что ничто не исчезает, все  
 остается, хотя и вне поля нашего сознания.  
 Времени в наших формах его восприятия  
 нет.*

*Эта тетрадь — для наших детей — мо-  
 из.*

В среду 26 июня 1957 года мы с мамой (моей женой) решили поехать из Зеленогорска в город не обычным путем (поездом или автобусом), а теплоходом с Золотого пляжа. Теплоходы из Зеленогорска только что начали ходить, и хотелось посмотреть на Финский залив с Финского залива. Я живу на берегу Финского залива с детства, но в море бывал только на лодке (и то очень редко) или на пароходе — из Ленинграда в Петергоф (два-три). Вот мы и отправились на Золотой пляж к пристани и прошли как раз мимо тех дач, в одной из которых ранней весной (или, вернее, поздней зимой, так как лежал еще снег) 1941 года во втором этаже мы собирались снять на лето комнату. Собирались, но не сняли... Сняла Ширяева. Мы с мамой и спросили друг друга: «А что, если бы мы эту дачу сняли, — остались ли бы мы живы?». Так возникла у нас мысль записать для наших детей по возможности все то, что сохранила нам память о событиях 1941—1942 годов.

Будем записывать — не претендуя ни на систематичность, ни на особую литературность. Если я что-нибудь забуду, — поправит мама. У нашей мамы память лучше и точнее моей — особенно на числа.

Суббота, 29 июня 1957 г.

\* \* \*

Итак, в 1941 году мы не сняли дачи в Териоках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был И. А. Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами, в новом доме, не очень далеко от речки Оредеж. Говорят, дача сохранилась.

Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском доме и получал мало. Правда, мы брали еще в издательстве рукописи на монтировку и даже внесли в это дело кое-какие усовершенствования (вместо того, чтобы клеивать маленькими кусочками бумажки вычеркнутые буквы и отрывки, мы стали их замазывать гуашью, что убыстрило работу), но заработок все же оставался очень маленьким. Помню, что в нашей дешевой даче была комната и балкон. В том же доме,

только что выстроенном, жили и еще какие-то дачники. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе — тогда резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова.

Я ездил на дачу часто и иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы.

Лето было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбрав место с небольшим «пляжем», на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным «пляжем» проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали: не вспомнят ли они финскую кампанию 1939 года, но их встревоженные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама (моя мать) и Юра (брат) услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побледнел. В городе меня поразили мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском доме, но с оглядкой. Говорил больше А. И. Грушкин: строил всякие фантастические предположения, но все «патриотические».

Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: научные учреждения АН должны быть законсервированы, начались сокращения сотрудников, продолжавшиеся до весны 1942 года, сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский дом, менялись несколько раз за неделю.

Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили — слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались.

Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским шлонам пристраивались все, кто хотел бежать. Пристраивались по преимуществу евреи. Им было особенно страшно. Что такое фашизм для евреев — это к тому времени было уже хорошо известно. Евреи выезжали всяческими путями, кто как мог. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полной беспорядке. И, действительно, позднее мы узнаем, что множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов — в их числе и «отцов города».

«Эвакуация» была насильственная, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами в Вырице жил и М. П. Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации: мы дочерей, а он внуков.

Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки азростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского дома мы несли круглосуточное дежурство, и сидеть на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал из Вырицы в поезде из одних мягких вагонов (состав откуда-то был пригнан). Стекла в поезде были выбиты: немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Два раза совсем низко пролетели над дачей немецкие «мессершмиты». Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и так же внезапно исчезали.

Однажды после ночного дежурства в Пушкинском доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский. Он решил, что жить в Вырице «хватит», перевез своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами: на даче остались только «ходики» (дешевые часы), корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. А В. Л. Комарович с семьей остались в Сиверской и уехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Но эти полторы недели были роковыми для Комаровичей: они не успели ничем запастись...

Ко времени нашего возвращения из Вырицы в Ленинграде существовала уже картонная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: ясно было, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солище. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром, в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умная мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подохла: ни одной крошки не могла она найти у нас в комнате. Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля. Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Может быть, Зина вспомнит точнее, что мы успели запастись. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы — почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе — с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления радио.

Передаю перо Зине.

К тому, что написал папа, я дополню. В тот год мы поздно выехали на дачу, так как папа 11 июня 1941 года защищал кандидатскую диссертацию. Мы на дачу поехали 19 июня. Мы наняли грузотакси и на нем перевезли все вещи. У нас была хорошая комната и веранда; все маленьких размеров, но квадратные. Тамара спала наверху, около чердака. Погода была прекрасная, и дети быстро стали поправляться. Мы благополучно прожили 9 дней: ходили купаться на речку, гуляли в лесу и лежали на траве в нашем дворе около нашей веранды. Когда мы купались, то девочки ложились мне на спину и я плавала. После объявления войны я осталась без Тамары, так как она поступила на завод, но жила в нашей квартире на Лахтинской улице (дом 9, квартира 12).

Мы жили в Вырице до 18 июля. К нам приехала на несколько дней бабушка. Нас переезжает Михаил Петрович Барманский. Это было в воскресенье под вечер. Он помог мне собрать вещи, и мы приехали с детьми в город. Вот не помню, как мы все перевезли. Помню, что я как-то раньше привезла в город два тяжелых чемодана; возможно, что перевозила Тамара. На даче остались детские кровати, посуда, шезлонг. Всю блокаду девочки спали уже на кроватях взрослых. Одну кровать дала Нина Урвачева. В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми. До введения карточек на них давали продукты: лишней

килограмм крупы. Карточки ввели, и мы стали сушить хлеб и булки в чудо-печке на керосинке. Только потому, что Митя советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 г. Когда ввели карточки, то норма была 600 г для служащих и 400 г для иждивенцев и детей. Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла. Мы хранили картошку в кухне, а масло за дверью. Я стала замечать, что эти запасы стали понемногу уменьшаться, хотя мы их не трогали. Мы решили, что в этом виноваты наши соседи Кесаревы, и стали все продукты хранить у себя в комнате. У нас был запас в несколько бутылок рыбьего жира. Это было важно для детей.

Продолжаю писать. 11 стограммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке, угол Большого и Введенской ул. — тогда она помещалась в старом двухэтажном здании.

Жизнь постепенно приобретала фантастические формы.

Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близко, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги начинались только тогда, когда бомбы уже падали на город.

Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то заскрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровского и Рыбацкой — не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал Блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, прорвало водопровод, и людей, спасавшихся там, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа). Он продолжал лежать в постели. Упорно ходил в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы (Кесаревы — это наши соседи по квартире — муж и жена). Но все же мы присмотрели комнату в первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время почевать. Хозяйка ее — одинокая женщина — служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Там нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли с детьми в Ботаническом саду. Сохранились снимки — мы с детьми в Ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пойти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали «проверять». Так было, например, с Михаилом Андреевичем Панченко (нашим ученым секретарем). Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки находились якобы в трубах домов (их было видно только сверху), на Марсовом поле и т. д. Какая-то доля истины в этих слухах, может быть, и была: немцы действительно знали все, что происходило в городе.

Однажды в августе мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и,

наконец, приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда немцы, по-видимому, готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда я в ясный осенний день шел из Пушкинского дома, на Большом меня осыпал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад «Печатного Двора». Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, застали знаменьями грядущих бедствий. Город между тем наполнялся людьми: бежали пригороды, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу сорок первого года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирал и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке, в квартире Колосовских, я расскажу после. Когда «фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы — собирать овощи с огородов под пулями немцев.

В. Л. Комарович<sup>1</sup> был единственный, кто заходил к нам в Ленинграде из знакомых. Тогда заходили только родные (отучил Сталин). Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорожной цене. Куклы кунить было можно, но еды — ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуру Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося у него, хоть немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев — последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу.

Комарович все строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно, но не во всем был прав. Помню его еще до войны на Кронверкском проспекте (теперь проспекте Горького): он читал вывешенную газету с сообщениями о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит, но В. Л. перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный. Его не так-то легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я и сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и папшески настроенный П.: он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам стал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся: ступеньки, падая, образовали над ним свод.

<sup>1</sup> В. Л. Комарович — мой друг, специалист во Достоевскому (автор ряда книг в исследовании, есть на немецком), специалист во древнерусской литературе.

Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а П. отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы, и вот как. П. «догадался»: он заявил властям, что у него при бомбежке погубил паспорт. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше.

Помню — я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить их было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до гигиены.

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, — это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полах вокзалов и школ. Итак, одни с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было не мало.

Особенно много карточек оказывалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда (жмыхи) выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918—1920-х годах, когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!

Трамвай еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях — с юга Ленинграда на север: финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Териок в первый же день войны. Детей ей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим зшеломом в Тетюши — под Казань. Так же пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы мы сняли дачу в Териоках.

Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском доме. Там в августе и в сентябре работал буфет, работала и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и... переставали встречать.

В июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Всех поочередно приглашали в директорский кабинет, и там один из начальников с секретарем парторганизации А. И. Перепеч «наседали». Помню, М. А. Панченко вышел бледный, с дрожащими губами, из кабинета: он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит». Я это слышал. Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько недель его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области.

Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед исто-

рическим факультетом. Помню среди маршировавших Б. П. Городецкого и В. В. Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру В. В. Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А В. В. Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен...

Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (впоследствии их съели, и они тем спасли жизнь многим физиологам). В Библиотечном институте срочно строили нары для нас всех, чтобы перевести нас на казарменное положение. Нам с В. В. Гиппиусом показали даже наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и... ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными». Часть сотрудников ездила под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаружились таланты: В. Ф. Покровская лечила травами и спасла от смерти С. Д. Балухатого. М. О. Скрипиль был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли телку. Кто-то смог ее зарезать. Но за город ездили и для других целей. Т. П. Ден ездила с группой женщин срезать на полях, где перед тем росла капуста, кочерыжки. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах.

Самым страшным было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума АН по подсказке нашего директора — П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В. Ф. Покровскую, затем М. О. Скрипилю. Уволили всех канцеляристок, и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В. Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал в середине зимы.

Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и занялся в добровольцы следующий рассказ. Одного из вице-президентов вызвал к себе В. М. Молотов и спросил: «Сколько научных сотрудников вы записали в добровольцы?» Вице-президент назвал. «А сколько докторов наук?» Вице-президент назвал. «А сколько членов-корреспондентов?» Вице-президент и тут назвал какую-то цифру. «Академиков?» Вице-президент смутился и сказал, что запись еще не успели произвести. «А вы сами намерены записаться?» Вице-президент поблел и ответил утвердительно. Тут уж Молотов рассердился, обвинил вице-президента во вредительстве, и тот был снят со своего поста. Перестарался, но результаты были налицо: многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться.

Но «на предлагаемое возвратимся». В буфете собирались «пожарники», «связисты», вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями (не кочанными, а верхними — жесткими) и без конца разговаривали. Особенно много говорил Г. А. Г. Тут выяснилось, что он по матери русский (из Новосадских), что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Г. был в панике. В панике был и Александр Израилевич Г. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, падемой набекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что, когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина.

Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН. В этой столовой кормили по

специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до дому!» Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздраженный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Лятфонда, где им также отказали в столовой как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтоб идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к В. Л. Комаровичу и перед тем: помог ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены в город.

Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанной по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а битами: говорили, так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом, в 1945 году, мы с трудом смогли его отмыть.

Мне часто приходилось почевать в институте. Мы дежурили, спали одетыми на «мемориальных» диванах (помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах И. С. Тургенева из Спасского-Лутовинова). Вместе с нами дежурили и «словарики» (картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском доме и была перенесена для сохранности к нам вниз). Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и других. Однажды утром, войдя в комнату, где спал обычно Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике.

Дежурить в Институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили Петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 1941 года, и справиться — живы ли мои — было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался, но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и только тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными.

А ходить становилось все труднее. Я состоял «связистом». Мне иногда надо было идти на квартиру к служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной оборонной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника «Скорой помощи» Месселя. Я видел город и днем, и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в ночной темноте, почти без людей, стремившихся беречь силы и не выходить из своих квартир.

Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Комитерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожар в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома все колот дрова на плите для наших «буржуек» (пригодился опыт первого петроградского голода 1918—1919 годов).

Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой (трамваев не было). Когда мы переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шага. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов «тех» снарядов еще и сейчас есть на гранитной набе-

режной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус, но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он — самый невыдержанный и самый раздражительный человек из всех, кого я только знал.

Передаю перо Зине.

Все домашние хозяйки дежурили на улице, сидя у парадной двери. Вечером нужно было следить, хорошо ли затемнены окна. Все в доме перескочило во время дежурств и всё разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая мне предложила спать с детьми в комнате первого этажа, окнами во двор. Это было в конце сентября. Я помню этот страшный взрыв на Гейслеровской, о котором пишет папа. Я спала на складной кровати посередине комнаты. Когда пронеслась эта бомба, было такое чувство, что лежишь в воздухе и вокруг пустота. Мы не спускались в бомбоубежище, и за всю войну я там ни разу не была. Недели три спускались на первый этаж, а потом перестали делать и это. Помню, как я старалась отovarить карточки. Карточки выдавали, а продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбежкой, чтобы получить продукты. Я получала продукты для всей своей семьи и для бабушки с дедушкой. В конце октября я получила все продукты и счастливая вернулась домой. Вместо масла получила голландский сыр. Сергей Михайлович мне поцеловал руку, поблагодарил и сказал, что если бы не я, то он не получил бы продуктов. Так я отovarивала все карточки, кроме декабрьских. По ним мы не получили масла. Я вставала в два часа ночи, а все спали. Я ходила в папиных валенках и в большем платке (белом, он и сейчас цел, я его купил в Пятигорске. — Д. Л.), в рукавицах, которые кроил папа. Сукно, а внизу детское шерстяное платье. М. И. и О. С. Стеблины-Каменские обещали нам достать дуранду по большой цене, а у нас не было денег. Деньги я взяла у своего папы, но дуранду нам так и не достали. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал Василий Леонидович Комарович. Он пришел к нам, мы его угощали чаем с хлебом. Он сказал: «Теперь хлеб, как иртыш». Мы с папой были в тяжелом настроении. Он старался нас подбодрить и говорил: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с вами большие дела сделаем». А потом сам скоро заболел и в феврале умер. Вот он нам тогда и посоветовал менять вещи на продукты. Он сказал, что нужно менять женские вещи. Я пошла в Сытный рынок, где была барахолка. Взяла свои платья. Голубое крепдешинное я обменяла на 1 килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье обменяла на 1 килограмм 200 г дуранды. Это было лучше. Дуранду мы мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки.

Как мы варили суп? Получали 300 г мяса. Папа мелко нарезал это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа. Зима началась очень рано и была очень холодная. Дрова у нас были, благодаря стараниям Сергея Михайловича. Дворник отказался носить и посоветовал нам дрова перенести домой.

Продолжаю писать после Зины.

Я тоже помню, как Василий Леонидович посоветовал нам менять женские вещи. Он сказал: «Жура наконец поняла, какое положение: она разрешила променять свои модельные туфли». Жура — это его дочь, она училась уже в Театральном институте. Василий Леонидович иногда жаловался на ее эгоизм (помню его фразу: «Вы не знаете, что значит иметь в доме взрослую гимназистку!»). Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих.

А что такое дуранда — узнайте, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.

Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток. Одну плитку я держал про запас: так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий.

Передаю перо Зине.

В клей клали сухие корни и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала

в блюде, где он звистывал. Еще мы ели кашу из маниной крупы. Этой манкой мы чистили детские шубки белого цвета. Маниная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа. В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 125 рублей. Они ценились дороже, чем письменный прибор.

Как мы отапливались? Сергей Михайлович еще весной купил дрова, но распилить и расколоть не успел, а когда началась война, дворник отказался пилить и колоть дрова. Дрова стали растаскивать, поэтому мы решили их поднять на пятый этаж. Я помню, таскали их Сергей Михайлович, я, Юра и Тамара. Сложили их в кухне под окном. Потом мы в кухне их пилили, а Сергей Михайлович мелко колот для «буржуйки», на которой готовили пищу. Вначале мы топили в комнате изразцовую печку. На наше несчастье, она испортилась, и нам пришлось звать печника и платить ему вином, которое выдавали по карточкам и которое мы могли бы обменять на хлеб. Когда Юра с Ниночкой эвакуировались, они отдали нам свою замечательную «буржуйку». Мы ее поставили в комнату и уже готовили в комнате и обогревались. У Ниночкиного знакомого Роньки через Ниночку мы обменяли мои золотые часы на 750 г риса. Часы были золотые, заграничные, плоские, но не шли. Бабушка выменяла 3 кг сливочного масла на золотой браслет и один килограмм дала нам украдкой от бабушки (у бабушки начиналась патологическая жадность — следствие дистрофии).

Итак, начинаю писать я.

Наш рассказ похож на детскую игру: каждый следующий пишет продолжение, не зная, что написал предшествующий; получается ерунда, которую потом весело читать. Но в том, что мы пишем, веселого нет. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбирает самое страшное.

Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Мы освещались электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже хотели нас жрать.

А перед тем — осенью — приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы «собачку», нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Калистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам — это ему делали в Физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда он приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил на улице около Большой Пушкарской; он шел с рюкзаком за плечами, нес «собачку» из Физиологического института. Шел быстро: собачье мясо, говорили, очень богато белками.

Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. Диетстоловая помещалась за Введенской, кажется — на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой была темнота: окна были зафанерены. На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синевой водой, бледные, у других лица были страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько мучил

голод, как холод. — холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой — в столовой не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.

Уходя из этой столовой, я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец, школу решили распустить. И вот кто мог — уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, они шатались, путались в шинелях, которые висели на них как на вешалках, падали, их волокли матери и сестры. Лежал уже енег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецшколой, был «Гастроном». Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти довесочки тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами (в магазинах было особенно темно: перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны). Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи вымирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил в высоких этажах), как наступал конец всей семье.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой, холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая от себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, тербил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер затем в детском саду.

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Эти обрезанные и голые трупы были страшны.

Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательное. Тот, кто обрезал труп, — редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить их жизнь. Ведь самое важное в еде были белки. Добыть эти белки неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь это мясо и у трупа...

Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества — угол Зеленина и Гейслеровского — обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где якобы лежала картошка, и, когда он наклонился, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей.



Так съели одну из служащих издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной — небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки какое-то общение между людьми сохранялось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».

Улицы были завалены снегом; только посередине оставались тропки. Все было раздражительно до невероятия. Помню, раз я шел по середине Лахтинской улицы. Впереди меня идет по тропке характерная блокадная фигура: поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура (мужчина или женщина — не разберешь) медленно, волоча ноги (поднять их вверх трудно, а волочить еще можно). Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном «романовском» полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно, с палкой, которую мне добыл С. Д. Балухатый из коллекции А. С. Орлова (Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал «нуждающимся» его палки). Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит (но крик больше похож на шипение): «Да проходите же, наконец!». Фигуру раздражало, что я ее не обгоняю, а как ее обгоняешь, когда тропка узка, а кругом сугробы?

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Г. Он что-то много под арестом наболтал, струсив, и посадил Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Г. вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец, кровь с молоком, купался всегда и зимой в проруби против Биржи — на Стрелке). Умер В. В. Гиппус. Умер Н. П. Андреев, З. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г. Успенская (дочь писателя) — все это были сотрудники Пушкинского дома. Всех и не перечислишь.

Помню смерть Я. И. Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать — раскладушка. Дома у него ничего не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседел, отросли и создавали жуткий контраст к черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил: «Который час?» Ему ответили. Он переспросил (голос у дистрофиков становится глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались): «День или ночь?» Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были зафанерены, и ему не было видно: светло или темно на улице. Через день или два паш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского дома. Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском доме, чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие и не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском доме.

Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный

(изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!». Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше — не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу.

Фольклорист Н. П. Андреев умирал так. Сперва он дежурил в Институте и за себя, и за Н. Эти двойные дежурства очень истощили Н. П. Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать сестрой (это тоже был один из способов выжить) и отцу не помогала. Однажды Н. П. Андреев пришел в Пушкинский дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его: он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Кустодиев. Проводить его пошла А. М. Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Н. П. Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные отрываться от себя и от своей семьи куски сахара — куски жизни. Удивительное действие оказывала еда: стоило съесть маленький кусочек сахара, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо! Через несколько дней я пошел к Н. П. Андрееву отнести ему билет на самолет. В Институте кто-то не полетел (из лиц, удостоенных благоволения начальства), и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, посередине мостовой по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкинской я упал и очень расшиб колени, но поднялся (сильно истощенные подняться не могли — они могли только идти). Я дошел до него и даже достучался (это было трудно), но лететь он уже не мог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Староневского (его молодая жена жила отдельно от него) и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег...

Как-то мистически страшно умер литературовед Б. М. Энгельгардт. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я уже ее забыл (память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний).

Трупы на улице лежали против Института литературы — ближе к Биржевому мосту (месяца два лежал там труп женщины), в сгоревшем здании Мытнинского общежития Университета (помню, на первом этаже лежали трупы двух детей), на Кронверкском — против Народного дома, где весной был устроен морг и куда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.

В Институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение и в самом деле поддерживавшее многих и многих. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки! Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше — Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж и умирали дети (двое).

Софья Емельяновна долгое время работала в Институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером.

Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованием и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти! Каждое такое «путешествие» отнимало очень много сил, приближало смерть.

Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам); она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега

с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки пужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне на антресолях). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже вырос лед. Люди плашмя ползли на ледяную гору и опускали ведра как в колодезь. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.

В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально называли ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на санках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу — подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.

По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а онегинские — из онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III — ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века — голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзным «вододем»), выступал на собраниях, призывал, говорил зажигательные речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро. А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Теперь (1957 г. — Д. Л.) Канайлов работает в Саратове, кажется, член горсовета, вообще — «занимает должность». Но в Ленинград не решается вернуться. Но Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском доме, но его вызвали в ЛАХУ и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из Академии, но все-таки устроился раздавать квартиры, где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получал себе несколько квартир, брал взятки и, в конце концов, был арестован. Явился он перед тем и в Казань: ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.

После отъезда Канайлова Институтом стал весть М. М. Калаушин. Увольнения прекратились. Напротив, было принято несколько человек — в том числе и наша Тамара Михайлова. М. М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда он пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрывшись пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. А. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив по себе главным В. А. Мануйлова.

Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.

Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбозлектроход «Вячеслав Молотов» — все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» — под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были из приятных соседей, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецких бомбардировщиков...

Команды кораблей были пущены к нам в Музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого они были обставлены всей лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и пр., и пр. — все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось... Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собой что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?

Дистрофия развивала kleptomaniю и у сотрудников Института. Канцелярская служащая (Валентина... отчество и фамилию я забыл) сняла в Институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседаний и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше я ее в Институте не видел. Это была канайловская знакомая.

Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями. Их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском (дом этот и сейчас стоит — против окон Ахматовой). В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная — фугасно-зажигательная. Она пробилла все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался снизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон: лучше разбиться насмерть, чем сгореть.

В Ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники, вымерзли знаменитые пальмы (помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на свободу и замерзшей?).

В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети

не могли встать с постелей: они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.

Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страх перед трупами не было, родных не оплакивали — слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на порогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах, под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?

На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица (среди них не было сильно истощенных) могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали здоровых. Говорили — из Вологодской области.

В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто-то уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды, во всяком случае для нас. Юра с Ниночкой (своей второй женой) уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением; все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах, и когда ел суп (вернее то, что мы называли супом), то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение (я не понимал, что сердце у отца работало все хуже) и эта копченая колбаса, которую он так ждал.

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской улице (дом 9, кв. 12).

Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя как можно больше всего теплого. К счастью, у нас были целые стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в 6 вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919 и 1920 году — тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Мы подсчитали с Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватит на столько-то дней, а если расходовать по плитке через два дня — то на столько-то. И тут же сетовали: почему я не доел своей порции тогда-то? Вот она бы пригодилась сейчас! Почему я не купил в июле в магазине печенья? Я ведь уже знал, что наступит голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься с боку на бок.

Утром растапливали «буржуйку». Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книжку нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела. Приходилось вырывать по

листку и по листку подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились; дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как разурмянил их мороз...». Учили стихи Ахматовой: «Мне от бабушки-татарки...» и др. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Сидели дети за стол за час, за полтора — как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбальтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манией крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смиренно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась докрасна. Как было хорошо!

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали — мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны посередине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак был такой удобный... Весной, когда потеплело, на потолке появились коричневые пятна — на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места).

От тонки бумагой засорилась печка. Об этом Зина уже писала. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил каналы дымохода, и снова можно было топить.

\* \* \*

В моем писании получился перерыв недели на три. Сейчас у нас на даче в Зеленогорске (Лиственная, 16, дача 132) наступила жара, отвлекшая от мыслей о блокаде. Солнце, купанье, счастливый воздух сытой жизни! И вдруг блокада сама напомнила о себе. Рядом с нами за тонкой перегородкой живет семья: ребенок месяцев трех-четырёх, отец, мать и две бабушки. Одна из бабушек оказалась женой Кулика — того самого, о котором я писал уже и которого ждали миллионы умирающих ленинградцев, в холоде, в темноте, слухи о котором передавались в очередях: «Кулик идет! Кулик разворачивается!» Сам Кулик сейчас на кумысе (у него туберкулез). Он скоро придет сюда, я его увижу. Его развеселая жена уверяет всех, что он дамский угодник, высок и красив собой. Господи! Понимает ли он сам — кто он такой, кем он был для ленинградцев?

Нет, голод не совместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миржом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, — мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренно, «от души» мыслили

и проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению ветра, не поддаваясь суеде и тщеславию.

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватало холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель — в Его облике что-то от ленинградских больше-любых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни одного огня в них нет: смерть там победила жизнь; хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба — покров Богородицы. Богородица наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы, на ризах — изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова на Нерли — первого покровского храма).

Надо, чтобы эта картина не пропала. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Разверзлись небеса, и умирающие видели Бога.

Умер В. Л. Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы.

О смерти В. Л. Комаровича рассказывала мне Т. Н. Крюкова (его ученица по Нижегородскому университету) и И. Н. Томашевская. Вот как это было. В. Л. уже лежал, а Театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура (дочка Василия Леонидовича, которая училась в этом Театральном институте) и Евгения Константиновна (жена Василия Леонидовича). Отца они решили бросить: он бы не смог доехать. Его хотели оставить в вот-вот открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинали открываться «стационары», где их «в отрыве от семьи» (всех не накормишь!) немножко подкармливали. В Доме писателя готовили уже помещение для умирающих писателей. Диетической сестрой там должна была быть И. Н. Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских санок и повезли через Неву на улицу Воинова. В стационаре они встретили И. Н. Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу — в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним — брошенным на смерть. Что пережили они и что пережил он! Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня!» Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она открывала хлеб от своих мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича, а когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь, но у него уже была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия — это та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть: его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему уже было что есть. Таня к нему заходила: он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он работал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Зараском) я напечатал потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (кажется, т. V или VI). Эта глава вполне «нормальная», никто не поверил бы, что она написана умирающим, у которого едва хватало сил держать в пальцах карандаш, умирающим от голода! Но он чув-

ствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он считал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского дома. Я передал их туда после того, как их передала мне Т. Н. Крюкова и я извлек из них главу о Николе Зараском. Т. Н. Крюкова приносила ему два раза мясо — мясо, которого так не хватало и ей самой, и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в который умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала.

Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они были обе в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?» Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я уверен, что их нет в живых.<sup>1</sup>

Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. М. уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Э. кормили одну из дочек, а другую заморили голодом, так как иначе умерли бы обе. С. весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать, привязанную к саночкам, так как ее не пропустил санитарный надзор. Оставляли умирающих матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли испугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других.

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Ипбер — одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 г.). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»...

В феврале и марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выставляя страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали, а он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили у продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему его порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди съевывали крупку, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому

<sup>1</sup> Нет, они оказались живы. Они живут в Нью-Йорке. Жура замужем за богачом, ездит по Европе, поет песни собственного сочинения под фамилией Комаро (русская фамилия Комарович ее стесняла). Угрызения совести, должно быть, незначительны. (Примечание 1966 года.)

ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частички пищи в рот. Просто немислимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» — это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умирала от истощения мышь...

Папа в феврале уже лежал, опух и вставал только к еде. Его печурку топила Зина или я. В комнате его стало холодно — внизу не топили. От промерзших окон во время топки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах (несколько раз он проводил свой отпуск один на Волге) и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика-врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать (отец не любил лечиться, не любил врачей). Старик-врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было: их некому было готовить, но аптеки (некоторые) все же были открыты, и в них была душистая туалетная вода (одеколон весь выпили). Мы ходили в аптеку на Гейслеровском против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терпелив. Умер он 1 марта утром, около 8 часов. Он лежал на диване в маминской комнате (в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца), и ему было совсем плохо, когда я к нему пришел рано утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик — горел от звонковых батарей. Отец время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не мог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банку он не хотел. Он только повторял: «Царица Небесная!» Дети в соседней комнате не понимали, что дедушка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями XVIII века — единственной памятью от его матери (Прасковии Алексеевны — она умерла, когда отцу было 5 лет). Из груди трупа вырвался вздох: это выходил воздух из легких.

Страшное продолжалось и потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными»: хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весной не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась...

Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь, в саду Народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых

и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню — одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Там, в общей могиле, он и лежит; в какой — не знаем.

Свидетельство о смерти отца от 2 марта. «Хоронили» мы его числа 3—4 марта.

Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины и машины с хлебом и пайковыми продуктами были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины. Она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы жепщицы развеивались по ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекляевшими открытыми глазами!

Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец; даже когда я ссорился с ним, был на него сердит, я всегда чувствовал в нем человека более сильного. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец давно уже ничего не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь семьи в еще большей мере, чем раньше: Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая, пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи.

Еще за два, за три года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его приятели и вспоминали веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер — и никто не знал о его смерти, кроме нас да нескольких равнодушных измученных людей, отобравших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и рабочих, отказавшихся поднять его труп в машину.

Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, и мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сердце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его...

Снова перерыв в моих писаниях. Как-то тяжело приниматься за описание новых и новых смертей.

Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. В последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что в последние дни он не хотел есть и перестал ходить. В буфете у него нашлась плитка шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег для последнего...

Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной

комнате с дочерью и женой. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бранился. Могилы его нет, как нет и других могил.

В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношение из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель: подушки, одеяло. Уходить было страшно: начались обстрелы, бомбежки, очень усилились пожары, не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на две недели, но что могло случиться? Вдруг эта разлука навсегда? В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при копилках. Что было налито в тарелках, — мы не видели. Смутно видели только тарелки и что-то в них налитое или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда: это оживало тело! И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды, шел, ел и снова начинал ждать еды.

Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые.

Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть зачем-то в Пушкинский дом. Я видел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же, у тропинки, полузанесенная снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная. Несколько человек в стационаре умирали: у них была необратимая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом «деле» поймали доктора наук — кажется, астронома или химика.

Наконец короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам: наступала весна.

Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике (тетради у меня сохранились), но и писать. Дело в том, что М. А. Тиханову вызвали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. М. А. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный (это путешествие было для меня нелегким). От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой. В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина (я забыл ее фамилию). Она была полной, здоровой. А у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей (!) хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились, и в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 года. Я писал в ней главы «Азов — город крепкий», «Псков» и еще что-то. Больше половины глав — мои. У М. А. Тихановой там написана глава о Троице-Сергиевой лавре, введение и заключение. Сдавали мы рукопись в Госполитиздат — Петерсону (впоследствии умер под арестом — по «ленинградскому делу»). Писалось, помню, хорошо — дистрофия на работе мозга еще не сказывалась.

Весной стала выходить газета (не каждый день) «Лен. правда» — в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой (там был немецкий штаб), а в Володове находился наш артиллерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллерия. Впоследствии, когда я был в Новгороде, я заметил, что гибель церкви Николая Липного была такой же — там находились наши войска. В книге

«Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» (эта книга есть у нас дома — она потом была почему-то запрещена) у Николая Липного ясно видны окопы: это наши. Гибель ленинградских дворцов (в частности, Каменноостровского, который сгорел на наших глазах от времянок квартировавших там частей), Новгорода, Пскова подействовала на меня угнетающе.

Дома стало заметно лучше. Мама (бабушка) и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть выменинных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи — «Что пирует царь великий в Петербурге-городке» (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И войны были другие, и государственные деятели были другие.

Дошли слухи (с большим опозданием), что немцы заняли Тихвин. Толпа на Большом проспекте разгромила хлебный магазин.

Я встретил Колку Гурьева<sup>1</sup>; он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Когда умерла его мать, братья, жена — не знаю.

Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Пери. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире: перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат: для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, но наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки деревьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно — эпидемий весной не было.

Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой (она была там же, где и сейчас — рядом с Институтом этнографии). Два раза надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же на набережной, в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того, как ее съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, но так как трамвай ходили очень редко, то и хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец, я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволочил. Сразу наступила страшная слабость, и я долго с трудом мог передвигать ноги.

В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.

Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования: блокадный Ленинград переключался с северными Соловками. Меня вызвали несколько раз на Староневский, туда, где когда-то помещался сиротский дом. Когда угрозы не помогали (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не

<sup>1</sup> Потомок графов Гурьевых.

согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.

Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне: двойным кольцом — внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал мой друг Аркаша Селиванов, находившийся на «Ораниенбаумском плацдарме».

Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек (книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли) и встретил следователя; он вызвал меня на Староневский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Староневского долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.

Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали за дешевку люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плоховские картины, половую лампу со столешницей из овикса, книги, открытки с видами городов — все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг (полное собрание русских летописей — отдельные тома и еще некоторые) я отвез в Пушкинский дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив — «дядю Ваню». Он за буханку хлеба отвез книги на тележке.

Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купила их за 600 рублей какая-то незнакомая партийная дама и оставила нам задаток, а потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресло выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новый покупатель, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресла, вернув деньги, так как тогда (в 1944—1945 гг.) вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но, зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел (в них очень любил сидеть мой отец).

Картину «Зима» итальянского художника, кажется, Массена, я видел затем в 1944 году в комиссионном магазине на Садовой около Публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись: «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и замдиректора в Институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину через суд, но и в этом случае я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства, я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санной путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью — это кабак. У кабака несколько саней со впряженными лошадьми: ожидают мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое... Передаю перо маме.

Когда мы решили ехать, — а без денег ехать нельзя, — стали продавать вещи. Было такое чувство, что мы в Ленинград уже никогда не вернемся и все пропадет, а поэтому нужно продать все, хоть бы за бесценок. Мы давали объявления (развешивали на заборах) о продаже вещей, и к нам ходили люди и покупали вещи, как в магазине. Если в городе был обстрел, то к нам никто не приходил. Как-то пришел молодой человек и купил у меня письменный брон-

зовый прибор за 150 рублей, и тут же стояли 2 бутылки уксуса, и он их купил тоже за 150 рублей. Так ценились продукты, даже уксус! Я купила несколько бутылок уксуса в начале блокады. Магазины были пустые, можно было купить только горчицу, уксус, соду — вот я и купила. Уксус и горчица нам помогли есть студень из столярного клея. Для вкуса при варке я в него клала траву сельдерея, которая у меня сушилась для зимы, так как корни раньше зимой не продавали. Я помню некоторые цены, по которым продали наши вещи, или, вернее, отца и матери Мити. Шифоньер ореховый зеркальный — 1000 рублей. Туалет — тоже за столько же. Это очень хорошо, а остальные вещи гораздо хуже продали. У дедушки в комнате была хорошая ковровая кушетка. Ее продали за продукты, причем микроскопические: вроде 300 г конфет соевых, килограмм риса, полкило сахара и т. д. Два кабинетных кресла, вроде того, что у папы в кабинете (только лучше — мягче), мы продали за 600 рублей пара. Кушетку плюшевую мы продали за 450 рублей, а потом купили хуже за 1700 рублей. В общем, как будто мы выручили от продажи имущества тысяч девять — десять. Когда приехали в Казань, этих денег хватило месяца на три. Из этих денег мы купили картошку у знакомого Митино брата Басевича. Он нам продал 6 мешков мелкой картошки, и мы заплатили 2000 рублей. Продали перед отъездом всю мебель, посуду, сервизы. Когда мы уезжали, то взяли только мягкие вещи, которые зашили в тюки и сверху в клеенку. Клеенку сняли со столов. Удивительно, как не пропали наши тюки. Их мы с Тamarой разыскивали среди других подобных тюков, которые свалили в поле на другом берегу Ладожского озера. Как мы их таскали и грузили в товарные вагоны, в которых мы отправлялись в Казань!

Оставил место для Зины и продолжаю писать.

Связь с «большой землей» постепенно возобновилась, возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши — живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину для того, чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело! Мише сообщили о смерти дедушки. В главном зале Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Калистовым: он тоже собирался ехать. Мы записались все, записали и Тамару Сергеевну Михайлову (няню). Она тогда уже работала в Институте литературы (ее взял М. М. Калаушин препаратором). Вещей можно было брать ограниченное количество и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова Грива, а оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше. Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией, я ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте «Любочку», жену моего двоюродного брата Шуры (Александра Петровича) Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук — специалист по какой-то редкой морской специальности (по образованию он был инженер-электрик). Блокаду они кое-как прожили (Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив), а весной он стал ходить обедать в Дом ученых, а там в столовой «разговорился»: говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызвали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили «служить». Кажется, он смалодушничал, согласился, а затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следовательно, запугавший его, очень испугался сам, так как Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный, приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и пр. Вот как ценилась жизнь защитников города.

Перед отъездом, в мае и в июне, очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол — очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галлогах ходить было совершенно невозможно: резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что раз разрыв был слышен, значит, в нас уже не

попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице. Второго разрыва не было, но этот единственный и тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик на углу улицы Ленина. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошиб весь дом сверху вниз и разорвался в булочной. Погибло несколько десятков людей. Все было залито кровью.

Когда мы ходили по улице, мы обычно выбирали ту сторону улицы, которая была со стороны обстрела — западную, но во время обстрела не пряталась. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на 11-м счете разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и на 11-м счете молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующего столовой Сергейчука снесло голову: она ехала в трамвае. В трамваях ехать было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград (приехал из Казани в командировку в 1944 году), я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против Биржи труда еще в сорок пятом стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы под него. Рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго.

Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы О. А. Остроумовой-Лебедевой.

Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина сшила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им их куклы (самые любимые), а остальные куклы мы должны были отдать в детский сад (открылся внизу нашего дома). Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы! Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться.

Приходил Вася Макаров (брат Зины), принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 году во время финской кампании (говорят, их поджег финский самолет). Склады были продовольственные, и вот народ весной 1942 года стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей: это была черная лоснящаяся земля, нахнувшая землей и замазывавшая до боли горло. После нее болел желудок (единственный раз, когда у меня во время войны болел живот). Вася купил у нас кабинет (остатки — без мягких кресел) и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг.

Бронию на квартиру я сдал в жакт, но печати на квартиру положить не удалось: не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал — принимали багаж на Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал. Погода была хорошая. Это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся. Казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть, поэтому мы даже и не опечатали квартиру, не очень об этом заботились. Вася нас проворжал. Дети шли в сереньких пальтишках (они сняты в них в Ботаническом саду осенью 1941 года) с заплечными мешками. Тамара, купившая перед тем швейную машину у бабушки Обновленской, несла ее, завернутую в одеяло, но без крышки (твердая тара!). Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город.

На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно кормили: дали пшенной каши с «большим» куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. Мы поели на воздухе, затем нас стали сажать в дачные вагоны. Тесно было страшно. Вместе с нами очутился и Стратановский. Он потерял жену (она умерла сравнительно рано, зимой) и был один. С растерянным видом он упрашивал пустить его к нам в вагон. Поезд шел медленно, долго стоял на станциях. Часть людей сидела, часть стояла спрессованная, тамбуры были все забиты.

Ночью, в белую ночь, мы приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку: она была жирная, и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых, мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Я разговаривал с гебраистом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Калистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны — Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил: «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе.

В Борисову Гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз, после проверки паспорта, но что можно было захватить за один раз нашими ослабевшими руками? Мы с Дмитрием Павловичем, Зина и Тамара едва уговорили стражников, проверивших наши документы, пропустить нас еще раз и ходили раза по три, таская наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись к пароходу с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули, рискуя упасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга! Как волновалась Зина — и передать не могу.

День был ясный, и мы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились, но, слава Богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики: немцы не бомбили.

Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали очень долго, так как тюков у всех было много и народу было очень много, но ничего не пропало. Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами, но досок для нар не хватало и надо было достать досок, чтобы можно было спать. Первая большая остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против гостиного двора на площади была немцами не тронута.

По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.

В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это — другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.

Были ли ленинградцы героями? Нет, это не то: они были мучениками...

Я не собирался печатать своих записок. Они написаны для дочерей и носят вполне домашний характер.

Сколько погибло в Ленинграде от голода? Можно было бы приблизительно подсчитать число. Владислав Михайлович Глинка говорил мне, что он в конце лета 1942 года встретил возвращавшегося с заседания какой-то комиссии Ленгорздраотдела профессора онколога Николая Николаевича Петрова, и тот сказал ему: «Сейчас объявили, что число официально зарегистрированных смертей с начала блокады — один миллион двести тысяч. А сколько погибло беспаспортных беженцев!..» Следовательно, искать число «официально зарегистрированных» смертей надо в протоколах Ленгорздрава.